# Полет

# Джон Апдайк

В семнадцать лет, худо одетый и угловатый, я слонялся, думая про себя в третьем лице: «Ален Доу шел по улице домой», «Ален Доу саркастически хмыкнул». Осознание своего особого предназначения делало меня заносчивым и застенчивым одновременно. Как-то в воскресенье, давно еще, лет в одиннадцать-двенадцать, на рубеже, когда перестаешь быть маленьким, мы с мамой — папа был либо занят, либо почивал — взобрались на Сланцевый холм, детскую горку, склон которой упирался в нашу долину, приютившую простиравшийся под нами Олинджер — городок домов эдак в тысячу; самые лучшие и большие карабкались вверх по холму навстречу нам, за ними тянулись кварталы кирпичных коттеджей на одну-две семьи, дома моих друзей, сбегавшие вниз к белесой ниточке олтонского шоссе, которое связывало среднюю школу, теннисные корты, кинотеатр, немногие городские магазины, бензоколонки, начальную школу и лютеранскую церковь. По ту сторону стояли другие дома, в том числе и наш — крохотное белое пятно там, где начинался подъем на Кедровую гору. За Кедровой горой громоздились холмы, и было видно, как на юге шоссе теряется, исчезает из виду в других городках, среди лоскутов зеленой и коричневой пашни, — вообще казалось, вся округа затянута тонкой пеленой дымки. Я был достаточно взрослым, и мне было неловко стоять на пару с мамой возле одинокой низенькой ели на сланцевом гребне. Вдруг она запустила руку в мою шевелюру и воскликнула:

— Вот, все мы тут — тут и погрязнем, навсегда. — Прежде чем вымолвить «навсегда», она заколебалась и, помолчав, добавила: — Кроме тебя, Ален. Тебе суждено полететь.

Вдалеке над долиной, на уровне наших глаз, парили птицы. В свойственной ей импульсивной манере мама позаимствовала образ у них, а мне показалось, что я получил подсказку, которой дожидался все свое детство. Мое глубоко сокровенное «я» не могло не откликнуться, я смутился и нервно мотнул головой, чтобы высвободиться из ее мелодраматичной хватки.

Она была порывиста, романтична и непоследовательна. Мне так и не удалось превратить мамины спонтанные порывы в сколько-нибудь постоянную, общую для нас, тему. То, что мама по-прежнему обращалась со мной словно с обыкновенным ребенком, выглядело изменой образу, к которому она сама меня приобщила. Я томился в плену надежды, брошенной мне мимоходом и позабытой. Мои робкие попытки оправдать странности своего поведения — чтение по ночам или запоздалое возвращение из школы — предстоящим мне полетом наталкивались на откровенно недоуменный взгляд, словно я нес какую-то околесицу. Я считал это вопиющей несправедливостью. «Да, но, — хотелось мне возразить, — ведь эта околесица исходит от тебя!» И разумеется, именно поэтому мои намеки на «высокое предназначение» не срабатывали: мать знала, что я отнюдь не проникся своим «предназначением» и цинично спекулирую как выгодами от своей незаурядности, так и удовольствиями, которые сулила мне моя заурядность. Мама опасалась, что мои запросы будут как раз заурядными. Однажды в ответ на заверения, будто я учусь летать, она таки наорала на меня, побагровев от ярости:

— Никогда тебе этому не научиться, ты увязнешь и сгинешь в этой грязи, как я. Чем ты лучше своей матери?

Мама была родом с фермы, что в десяти милях к северу от городка, которую любила и она, и ее мать — крохотная неистовая женщина, похожая скорее на арабку, чем на немку; бабушка трудилась в поле наравне с мужчинами, по пятницам гоняла фургон за десяток миль на рынок и брала с собой маму, тогда еще совсем маленькую девочку. Представляю, какие это были жуткие поездки: девичий страх перед грубоватыми мужланами, которые налакались пива и норовят ее сграбастать и потискать; страх, что фургон сломается, товар не распродастся, что маму обидят; страх перед собственным отцом — в каком состоянии они застигнут его, когда затемно вернутся домой. В пятницу он выпивал, это был его выходной. Я не могу этого описать, поскольку знал деда только степенным, вечно поучающим, почти библейским стариком, у которого была одна страсть — чтение газет, и одна ненависть — к республиканской партии. В нем было нечто от общественного деятеля. Теперь, когда деда нет на свете, я по-прежнему ловлю себя на том, что примечаю его черты в облике известных политиков: часы с цепочкой и внушительный живот — в старых фильмах о Теодоре Рузвельте[[1]](#footnote-1), высокие ботинки и наклон головы — на фотографиях Билла Мюррея по прозвищу «Люцерна». Люцерна Билл поворачивает голову при разговоре и придерживает шляпу за верх большим, указательным и безымянным пальцами, учтиво и мягко, — такое разительное сходство с дедушкой, что я вырезал эту фотографию из «Лайфа» и положил в ящик стола.

Дед не был прирожденным земледельцем, хотя благодаря своей жене достиг процветания именно на этом поприще. В ту пору, когда процветание было почти неминуемо, он начал вкладывать деньги в акции. В 1922 году он приобрел в городе большой белый особняк — фешенебельный квартал еще не перекочевал на склоны Сланцевого холма — и обосновался в нем стричь купоны. До самой своей кончины он пребывал в убеждении, что женщины — дуры, особенно те две, которым он разбил сердце. Должно быть, на него снизошло откровение: это же выгодно — обменять приземленность фермерского труда на престижность финансов. И я его поддерживаю в этом, иначе как примирить мои представления о страшноватых поездках на фургоне с той горечью, которую, по собственному признанию моей мамы, испытали они с бабушкой, когда их отлучили от фермы? Быть может, на почве затяжного страха рождается любовь? А может, и даже скорее всего, данное уравнение длиннее и сложнее и немногие известные мне величины — хозяйская гордость немолодой женщины за свою землю, удовольствие девочки-подростка от катания на лошадях по полям, их общее чувство отверженности в Олинджере — взяты в скобки и помножены на неизвестные мне коэффициенты. Впрочем, возможно, не любовь к земле, а отсутствие такой любви скорее нуждается в объяснении: все дело в дедушкиной гордыне и привередливости. Он считал, что в детстве им помыкали, и затаил непостижимую для мамы обиду на своего отца. Для мамы ее дед был почти святым — статный великан добрых шести футов ростом, редкость по тем временам. Ему, подобно Адаму в Эдеме, были ведомы имена и названия всех и вся. К старости он ослеп. Когда он выходил из дома, собаки бросались к нему и лизали руки. Умирая, он попросил яблоко сорта «гравенштейн» с яблони на дальнем краю луга, а его сын принес ему «краузер» из сада рядом с домом. Старик это яблоко отверг. И моему деду пришлось сходить еще раз. Однако в глазах моей мамы было содеяно зло и нанесено дикое бессмысленное оскорбление, причем без всякого повода. Что сделал ему отец? Единственной внятной жалобой, слышанной мною от деда, было то, что мальчишкой ему приходилось таскать воду для работавших в поле мужчин. И дедов отец говаривал ему с ехидцей: «Ты, главное, ноги повыше поднимай, а вниз они и сами опустятся». Что за нелепица! Словно каждое поколение родителей причиняет своим детям зло, сокрытое, по воле Божьей, от всего света.

Моя бабушка запомнилась мне темноглазой немногословной маленькой женщиной, которая старалась пичкать меня едой сверх меры. Еще помню ее розоватый крючконосый профиль на фоне лимонных подушек гроба. Она скончалась, когда мне было семь. Мне известно о ней только то, что в семье она была самой младшей из тринадцати детей, что наш двор она превратила в один из красивейших в городе и что я похож на ее брата Пита.

Моя мама все схватывала на лету; ей было четырнадцать, когда они переехали, и целых три года она ходила в обычную окружную школу. Она окончила Лейк-колледж близ Филадельфии, когда ей исполнилось всего двадцать, — высокая миловидная девушка со снисходительной улыбкой, судя по одной из свернувшихся трубочкой фотографий, хранившихся в коробке из-под обуви, куда я постоянно заглядывал в детстве, будто в ней крылась разгадка наших семейных раздоров. Мама стоит во дворе в конце выложенной кирпичом дорожки, у тщательно постриженной живой изгороди, очертаниями напоминавшей массивную квадратную колонну, увенчанную шероховатым шаром из листьев. В правый край снимка вклинивается пышная арка из цветущего куста сирени, за маминой спиной пустырь, на котором, на моей памяти, уже стоял дом. Она позирует с этаким сельским изяществом, в длиннополом, отороченном мехом пальто, расстегнутом, чтобы видны были бусы и короткое, но довольно скромное платье. Руки в карманах пальто, берет сдвинут набок и вперед, на челку. Чувствуется некая щеголеватость, казавшаяся мне неуместной, когда я рассматривал эту фотографию, растянувшись на замызганном ковре в плохо освещенном старом доме, на закате тридцатых годов и в затемнении воинственных сороковых. И одежда, и девушка на фотографии выглядят ужасно современными. Моему деду доставляло удовольствие, живя в достатке, выплачивать ей щедрое пособие на наряды. Зато отец, смолоду не имевший гроша в кармане, сын пресвитерианского священника из Пассека, чтобы учиться в Лейк-колледже, подрабатывал официантом и до сих пор отзывается о роскошной одежде Лилиан Баер с легким укором. В старших классах это мамино пристрастие к роскоши ставило меня в неловкое положение. Когда доходило до выбора ткани, она становилась сущим снобом и настаивала, чтобы мои брюки и спортивные рубашки приобретались в лучшем магазине Олтона, но, поскольку денег у нас не хватало, обновки покупались редко, а мне хотелось просто-напросто, чтоб у меня, как и у моих одноклассников, было побольше всякой недорогой одежды.

В ту пору, когда был сделан этот снимок, моей маме вздумалось отправиться в Нью-Йорк. Чем именно она собиралась там заниматься, мне неизвестно. Но ее отец наложил запрет на поездку. «Запрет» — слово по нынешним временам нестрогое — тогда в старомодной провинции звучало вполне весомо, и его очевидная суровость из уст «снисходительного родителя» еще долгие годы угнетала атмосферу в доме, и в детстве, когда одна из маминых бесконечных стычек с дедом выплеснулась в крик на грани рыданий, я вдруг ощутил это вокруг себя и над собой, словно земляной червь, натолкнувшийся на мощное корневище.

Быть может, с досады мама вышла замуж за отца, Виктора Доу, но дальше Уилмингтона, где он начинал свою карьеру в конструкторской фирме, так никуда и не уехала. Разразилась Депрессия. Отец потерял работу, и супруги вернулись в Олинджер, в наш белый дом, где восседал дед и отслеживал по газетам, как его акции постепенно обращаются во прах. Появился на свет я. Бабушка подрабатывала уборкой и выращивала на нашем участке в четверть акра овощи на продажу. Мы держали кур, а на огороде целый кусок был отведен под спаржу. После бабушкиной кончины я с опаской разыскивал ее на спаржевых грядках. К середине лета там вырастал целый лесок из нежных зеленых деревьев, некоторые с меня ростом. От прикосновения к влажным осклизлым стеблям чудилось, будто вещает чей-то дух, а в мягком густом переплетении ветвей, казалось, засели надежда и опасность. Деревца спаржи нагоняли страх; посреди огорода, вдалеке от дома и аллеи, я попадал во власть колдовских чар, становился крошечным и бродил промеж гигантских гладких зеленых стволов в надежде найти маленький домик с дымящейся трубой, а в нем — бабушку. Она и сама верила в привидения, отчего ее собственный призрак становился всамделишным. И поныне, когда я сижу в доме один, стоит скрипнуть половице на кухне, как я вздрагиваю от страха, что вот сейчас она появится в дверях. А по ночам, засыпая, я слышу ее голос — он кличет меня по имени вкрадчивым шепотом: «Пи-ит».

Мама пошла работать в олтонский универмаг продавщицей дешевых тканей и получала четырнадцать долларов в неделю. В течение всего первого года жизни днем обо мне заботился отец. С тех пор он говорит — льстит мне, как всегда, — что если бы не носил меня на руках, то свихнулся бы. Возможно, именно этим объясняется моя неизъяснимая привязанность к нему, словно я по-прежнему бессловесное дитя, разглядывающее лицо своего папаши, расплывшееся от материнских чувств. И наверное, благодаря этому проведенному вместе году он так бережно ко мне относится, старается похвалить, словно все, что я ни делаю, отмечено печатью грусти и неполноценности. Он жалеет меня; мое рождение совпало с великим национальным бедствием — лишь совсем недавно он перестал величать меня «Юность Америки». К моему первому дню рождения он получил место учителя арифметики и алгебры в средней школе Олинджера, и хотя доброты и остроумия ему было не занимать, стоило ему войти в класс, как от дисциплины не оставалось и следа. Отец стоически переносил это день за днем, год за годом, пока наконец не обрел свое место в этом чуждом ему городе. Наверняка наберется десятка два его бывших учеников, мужчин и женщин средних лет, которым его участие и поддержка помогли состояться как личностям, которым какое-нибудь его напутствие запало в память, на что-то вдохновило. Очевидно, многим запомнились его выходки, когда свою собственную неуверенность в классе он превращал в веселый фарс. В ящике письменного стола отец держал конфискованный у кого-то игрушечный пугач, и когда ему вместо ответа выдавали особо несусветную чушь, он доставал его и, приняв сосредоточенно-скорбное выражение лица, выстреливал себе в голову.

Последним работать пошел дед, и он же больше всех от этого страдал. Его наняли в окружную бригаду дорожных рабочих, которые лопатами разбрасывали щебень и укладывали асфальт. Громоздкие, жутковатые на вид в своих комбинезонах, объятые клубами пара, вечно окруженные странными и страшными агрегатами, эти рабочие в воображении ребенка обретали некую величественность, и меня поражало, что дедушка даже не помашет мне рукой, завидев меня, топающего в школу или обратно, будто это и не он вовсе. На удивление крепкий для человека привередливого, он продолжал работать, хотя ему было далеко за семьдесят и зрение стало его подводить. Тогда в мои обязанности вошло чтение вслух милых его сердцу газет, а он сидел в эркере, в своем кресле у окна, и крутил носками ботинок под солнцем. Я дразнил его, читая то очень быстро, то невыносимо медленно, перепрыгивая со столбца на столбец, чтобы повествование сливалось в одну тягомотную мешанину; я от начала до конца зачитывал спортивную полосу, которая его не интересовала, и комкал передовицы. И только ботинки деда начинали двигаться быстрее — больше он ничем своего раздражения не выдавал. Если я останавливался, он мягко просил своим весьма красивым, старомодным, богато модулированным голосом, какому позавидовал бы любой оратор: «Еще некрологи, Ален, и все. Только фамилии, может, я кого-то знаю». Зловредно гаркая ему в лицо имена, среди которых могли оказаться знакомые, я воображал, что мщу этим за маму. Я был убежден, что он ей ненавистен, и тоже старался его ненавидеть из солидарности с ней. Из бесконечного выволакивания на свет моей мамой таинственных обид, погребенных во мраке и неизвестности задолго до моего рождения, я вынес только, что он злодей, загубивший ее жизнь — жизнь прелестного создания в берете. Я не понимал. Она ссорилась с ним не потому, что хотела поссориться, просто она никак не могла унять себя и *оставить его в покое.*

Иногда, поднимая глаза с печатных страниц, на которых наши армии откатывались назад, словно перепуганные букашки, я замечал, как старик слегка приподнимает голову, чтобы подставить теплым солнечным лучам иссушенное болезненное лицо, облагороженное густым венцом тщательно причесанных русых волос. И тогда меня посещала догадка, что как отец он совершил не больше прегрешений, чем совершает любой отец. Но моя мать умела вдохновенно наделять свою ближайшую родню мифическим величием. Я был фениксом; мой отец и бабушка — легендарными святыми-завоевателями, она — тонкая струйка арабской крови в немецком русле, он — уроженец протестантских пустошей Нью-Джерси, и оба преданно служили своим супругам и одновременно подавляли их своей недюжинной способностью терпеть и трудиться. Мама считала, что она и ее отец в равной мере пострадали от брачных уз, став заложниками людей, которые были хоть и лучше их, но не значительнее. И правда, мой отец очень любил бабушку Баер, и с ее смертью его чужеродность только усугубилась. Он и ее призрак держались вместе, в тени, особняком от мрачного нутра нашего дома, обид и глупостей, передававшихся по наследству от деда к маме, от нее ко мне, — от всего, что несколькими взмахами окрепших крыл мне суждено было полностью изменить и искупить.

В семнадцать лет, в начале последнего школьного года, я поехал с тремя девушками на состязание-диспут в одну школу за сто миль от нас. Все трое были умницы, круглые отличницы, сплошь отличные оценки портили их, словно прыщи. И все же я испытывал упоение, садясь с ними в поезд в пятницу ранним утром, в тот час, когда наши однокашники за много миль отсюда плюхались на свои скамьи, придя на первый урок. В проходе полупустого вагона в солнечных лучах светились пылинки, за окнами длинным бурым свитком, исчерченным промышленностью, раскручивалась Пенсильвания. Многие мили вдоль рельсов неслись черные трубы. Через равные промежутки одна из них выгибала спину, как греческая буква Ω.

— Почему она так вспучивается, — спросил я, — ее что, тошнит?

— Сжатие? — предположила Джудит Потайгер своим застенчивым прозрачным голоском. Она любила точные науки.

— Нет, — сказал я. — Она корчится от боли! Сейчас кинется на поезд! Берегись! — И я нырнул под окно, изображая всамделишный испуг. Все девочки засмеялись.

Джудит и Катрин Миллер были моими одноклассницами и знали, чего от меня ожидать. Третья же девочка, полненькая, невысокая, по имени Молли Бингаман, не знала. На эту новенькую зрительницу и была рассчитана моя игра. Из нас четверых она лучше всех держалась и была одета лучше всех, поэтому я заподозрил, что она наименее умная. В самый последний момент ею заменили заболевшего участника команды. Я знал ее только в лицо, встречал в коридорах и на собраниях. Издали могло показаться, что Молли тучноватая и скороспелая. Но вблизи она источала нежное благоухание, и на фоне выцветшей лиловой обивки вагонных кресел ее кожа, казалось, излучает свет. У нее была такая прекрасная кожа, что дух захватывало, даже карандашная точка могла ее замарать; а еще большие синие лучистые глаза. Если бы не двойной подбородок, великоватый рот и налитые губы, она была бы безупречно хорошенькой — на манер невысоких плотненьких самоуверенных женщин. Я сидел с ней бок о бок, напротив двух девочек постарше, которые все больше входили в роль свах. Это они настояли, чтобы мы расселись именно так, а не иначе.

Днем мы состязались в командном диспуте и победили. Да, Федеративную Республику Германия необходимо вывести из-под контроля союзных войск. Школьные диспуты на уровне штата, которые должны были продлиться до субботы, проводились в местной школе — роскошном замке на окраине жалкого шахтерского городка. В пятницу вечером в спортзале устроили танцы. Больше всех я танцевал с Молли, хотя меня раздражало, что она танцует с парнями из Гаррисберга, пока я отрабатывал повинность с Джудит и Катрин. Мы трое были те еще танцоры, только с Молли я выглядел прилично: она безбоязненно увертывалась от моих ступней, хотя щека ее терлась о мою влажную рубашку. Зал был украшен оранжевой и черной глянцевой бумагой в честь Дня всех святых, по стенам висели вымпелы состязавшихся школ, оркестр из двенадцати музыкантов задорно исполнял модные в том году грустные мелодии «Сердечная боль», «Рядом с тобой», «Мое желание». На волю выпустили тучу воздушных шариков, впоследствии застрявших в стальных балках. Подали розовый пунш, и какая-то девочка из местных спела песенку.

Джудит и Катрин решили уйти до окончания танцев, и я настоял, чтобы Молли пошла с нами, хотя она буквально таяла от блаженства. Ее безупречная кожа в овале декольте раскраснелась и засверкала. В порыве собственничества и жалости меня осенило, что дома, где ее затмевали ослепительные олинджеровские невежды, ее вниманием не баловали.

Мы пришли к большому белому особняку, где нас четверых разместили, — дом принадлежал пожилым супругам и высился в гордом одиночестве посреди полутрущоб. Джудит и Катрин сразу свернули к дому, а мы с Молли принялись робко «бродить по кварталу», причем инициатива наверняка исходила от нее. Мы прошагали многие мили, после полуночи заглянули в закусочную. Я взял гамбургер, а она произвела на меня впечатление, заказав кофе. Мы отправились обратно, вошли в дом, воспользовавшись выданным ключом, но не поднялись в свои комнаты, а провели в гостиной еще несколько часов за тихой беседой.

О чем мы говорили? Я рассказывал о себе. Трудно услышать и еще труднее запомнить то, что мы сами говорим, — так кинопроектор, будь он живой, не смог бы заметить тени, которые отбрасывает его светящийся объектив. Если дословно передать весь тот полуночный монолог вкупе со всем моим самомнением, то картина только исказилась бы: гостиная за многие мили от дома, свет уличных фонарей пробивается сквозь щели в занавесках и отбрасывает на стену полосы с жердь величиной, наши хозяева и спутницы спят наверху, слышно только непрерывное придыхание моего голоса; взбодренная кофе Молли сидит на полу рядом с моим стулом, вытянув ноги в чулках на ковре; и странное ощущение царит в комнате — неведомая мне аура без вкуса и запаха, словно расползающаяся во все стороны лужа.

Мне запомнился один эпизод. Должно быть, я описывал прилив страха смерти, накатывавший на меня с раннего детства где-то раз в три года, и закончил выводом, что нужно обладать недюжинной смелостью, чтобы стать атеистом.

— Но ты им все равно станешь, — сказала Молли. — Только чтобы доказать себе, что у тебя хватит смелости.

Мне показалось, она переоценивает меня, и я был польщен. В те годы, когда я еще помнил многое из сказанного ею, я осознал, насколько наивны наши представления о том, будто атеист — это бунтарь-одиночка; ведь атеизм объединяет целые сонмища людей, и забвение — тягучее свинцовое море, которое временами обрушивалось на меня, — для них столь же незначительное бремя, как груз бумажника в кармане брюк. Наше тогдашнее, нелепое и трогательное, представление о мире вспыхивает при воспоминании об этом разговоре, подобно одной из бессчетных зажженных нами спичек.

Комната наполнилась дымом. Не в силах больше сидеть, я лег на пол рядом с ней и гладил в тишине ее серебристую руку, но был слишком нерешителен, чтобы подчиниться обширной отрицательной ауре, которая — мне было невдомек — была аурой покорности. На лестничной площадке, когда я уже повернулся было к своей комнате, Молли, не отводя взгляда, подошла ко мне и поцеловала. Я неуклюже вторгся в подстерегавшее меня отрицательное пространство. Помада размазалась вокруг ее губ. Мне словно отдали лицо на съедение, а твердь — зубы под губами и череп под кожей — только мешала. Мы долго простояли в коридоре под сияющей лампой, пока у меня не заныла изогнутая шея. Когда мы наконец оторвались друг от друга и юркнули каждый в свою комнату, ноги у меня дрожали. В постели мне подумалось: «Ален Доу беспокойно ворочается с боку на бок», и я поймал себя на том, что впервые за весь этот день подумал о себе в третьем лице.

В субботу утром диспут мы проиграли. Я был сонный, велеречивый и надменный; стоило мне открыть рот, как в зале начиналось улюлюканье. На сцену поднялся директор школы и произнес разгромную речь, которая покончила со мной, моими доводами и неограниченной в свободе Германией. В поезде по пути домой Катрин и Джудит нарочно сели за нами, чтобы видеть наши макушки. Впервые за все путешествие я ощутил, каково это — прятать свое унижение в теле женщины. Ничто, кроме касания наших щек, не могло заглушить отголоски недавнего шиканья. Когда мы целовались, багровая тень застила мне веки и отгораживала от злобных гикающих рож из зала. Стоило нашим губам разомкнуться, как сверкающее море внутри меня блекло и физиономии проступали вновь, еще явственнее, чем прежде. Содрогаясь от стыда, я прятал лицо в теплой темноте у нее на плече, а ее безупречный кружевной воротничок щекотал мне кончик носа. Я чувствовал себя в одной компании с Гитлером и прочими мерзавцами, иудами, психами и неудачниками, которые умудрялись до самого последнего момента, вплоть до своей поимки или погибели, удерживать при себе женщину. Раньше это всегда изумляло меня. Представительницы слабого пола в лице наших старшеклассниц были горды и неприступны; газеты изображали женщин фантастическими созданиями, у которых одно на уме — покорять. А Молли, слегка прижимаясь, легкими движениями, в которых ощущался странноватый привкус опытности, помогала мне не падать духом.

На вокзале нас встречали родители. Меня поразило, насколько усталой выглядела мама. По обе стороны ее носа пролегли глубокие впадины. А волосы, казалось, не принадлежат ее голове, словно взъерошенный, нахлобученный впопыхах полуседой парик. Она была в теле, и ее масса, которую она обычно несла с достоинством, как некое богатство, в тусклом свете перрона, казалось, расплылась. Я спросил:

— Как дедушка?

Вот уже несколько месяцев, как он слег с болями в груди.

— Все поет, — ответствовала она довольно резко.

Уже давно, чтобы как-то себя развлечь перед лицом наступающей слепоты, дед запел. Поставленным стариковским голосом в любое время дня и ночи он распевал гимны, забытые комические баллады и песни, исполнявшиеся у лагерного костра. Похоже, с годами его память становилась острее.

В замкнутой скорлупе автомобиля мамино раздражение бросалось в глаза еще больше; ее тяжкое молчание угнетало.

— Мама, у тебя что-то усталый вид, — сказал я, решив перехватить инициативу.

— Ты бы на себя посмотрел, — отозвалась она. — Что там с тобой приключилось? Ходишь согбенный, словно семьянин со стажем.

— Ничего не приключилось, — соврал я.

Щеки у меня зарделись, постоянный накал ее гнева действовал на меня, как палящее солнце.

— Я помню мамашу этой девицы Бингаман с того времени, как мы переехали в город. Южнее шоссе не было чопорнее твари, чем она. Они — истинные олинджерские старожилы. Деревенщина вроде нас им ни к чему.

Мы с папой попытались сменить тему.

— Твой сын победил в диспуте. Ален, я бы так не смог. Не понимаю, как это у тебя получается?

— Ну как же, Виктор, он весь в тебя. Я вот ни разу не смогла тебя переспорить.

— Это он в дедушку Баера пошел. Если бы дед занялся политикой, Лилиан, то все горести его жизни прошли бы стороной.

— Отец никогда не был хорошим спорщиком. Он брал нахрапом. Не гуляй с низкорослыми женщинами, Ален. Это слишком приземляет.

— Да ни с кем я не гуляю, мама! Ну и воображение у тебя, ей-богу!

— Как же, когда она сошла с поезда, ее тройной подбородок затрясся так, что я подумала, она канарейку проглотила. И еще заставила моего бедного сыночка — кожа да кости — тащить свой саквояж. Когда она проходила мимо, я даже испугалась — сейчас, думаю, как плюнет мне в глаз!

— Должен же я был помочь девчонкам. Она наверняка даже не знает, кто ты.

Хотя, признаться, прошлой ночью я много рассказывал про нашу семью.

Мама отвернулась от меня.

— Виктор, ты только посмотри, он еще за нее заступается. Когда мне было столько, сколько ему, мать этой девчонки нанесла мне рану, которая до сих пор кровоточит, а теперь мой собственный сынок заступается за ее толстую дочку и дерзит мне. Интересно знать, не по наущению ли своей мамочки она за тобой охотится?

— Молли хорошая девочка, — вступился отец. — Она никогда не создавала мне в классе проблем, не то, что весь этот напыщенный сброд. — Для доброго христианина, который решился сказать похвальное слово, его голос звучал на удивление невыразительно.

Как выяснилось, никто не хотел, чтобы я водил дружбу с Молли Бингаман. Мои друзья — ибо благодаря тому, что я вечно ломал комедию, у меня все же были друзья: одноклассники не посвящали меня в перипетии своих любовных похождений, но я мог их сопровождать в качестве шута на общих пикниках, — так вот, мои друзья никогда не заговаривали со мной о Молли и, когда я приходил с ней на вечеринки, делали вид, будто ее не замечают, и мало-помалу я перестал брать ее с собой. Учителя в школе натянуто улыбались, завидя, как мы подпираем ее шкафчик или топчемся на лестнице. Учитель английского языка в одиннадцатом классе, один из моих «толкачей» среди преподавателей, вечно норовивший подкинуть мне «орешек покрепче» и «поэксплуатировать» мой «потенциал», отвел меня в сторонку и доверительно сообщил, какая она тупица. Она же не способна уяснить логические основы синтаксиса. Он поведал мне, какие ошибки она делает в разборе предложения, словно они выдавали — отчасти так и было — тугодумие, искусно скрываемое благовоспитанностью. Даже чета ультрареспубликанцев Фаберов, державшая закусочную неподалеку от школы, явно злорадствовала всякий раз, как у нас с Молли случались размолвки. Они упорно считали, что моя привязанность к ней — этакая тонкая игра, вроде того как я, подыгрывая Фаберу, прикидывался коммунистом. Казалось, весь город уверовал в мамин миф о «полете» как единственно достойной меня судьбе, словно я — жертва, отобранная высокочтимыми старейшинами Олинджера среди всей прочей живности, чтобы в урочный час принести меня в дар воздуху, и это вполне согласовалось с той двойственностью, которую я всегда ощущал в нашем городе — будто мне льстят и одновременно отторгают.

Родители Молли относились ко мне неодобрительно, потому что наша семья представлялась им белым отребьем. Мне столько вдалбливали, будто я слишком хорош для Молли, что я не задумывался, что, по другим меркам, и она может оказаться слишком хороша для меня. И, кроме того, Молли ограждала меня от неприятностей. Лишь однажды, раздраженная моим очередным занудным высокомерным откровением, она сказала, что ее мать меня недолюбливает.

— Но почему? — искренне недоумевал я.

Я восхищался миссис Бингаман — она изумительно сохранилась, и мне всегда было радостно бывать в ее доме, отделанном белой древесиной и мебелью под цвет, вазами с ирисами перед начищенными до блеска зеркалами.

— Не знаю. Она говорит, что ты какой-то несерьезный.

— Но это же неправда. Никто не относится к себе серьезнее, чем я.

Молли ограждала меня от нападок своей семейки, а я более чем откровенно посвящал ее в происки семейства Доу. Меня бесило, что мне не дают ею гордиться. На деле же я все допытывался у нее: почему она так плохо разбирается в английском? Почему не ладит с моими друзьями? Почему она такая толстушка и воображала? — причем последний вопрос задавался вопреки тому, что зачастую, особенно в интимной обстановке, она казалась мне прекрасной. Я особенно злился на Молли из-за того, что наши отношения высветили низменные, истеричные, злобные черты маминого нрава, которых иначе я бы у нее и не заподозрил. Я надеялся хоть что-то скрыть от мамы, но даже если ее интуиция щадила меня, отцу в школе было известно все. Правда, иногда мама заявляла, будто ей безразлично, дружу я с Молли или нет. Это, дескать, отец сокрушается. Подобно свирепой собаке, привязанной за ногу, она кидалась из стороны в сторону, изрыгая чудовищные бредни: якобы миссис Бингаман натравила на меня Молли, дабы помешать моему поступлению в колледж, чтоб и семье Доу было чем гордиться... тут уж мы с ней на пару вдруг начинали смеяться. В ту зиму смех у нас дома звучал с оттенком угрызений совести. Дедушка умирал. Он лежал наверху, пел, кашлял или рыдал, по настроению. А мы были слишком бедны, чтобы нанять сиделку, и слишком добры и трусливы, чтобы отправить его в дом престарелых. В конце концов, мы все жили в доме, который принадлежал ему. Какие бы звуки ни доносились из его комнаты, они терзали мамино сердце. Ей было невыносимо спать наверху, по соседству с ним, и она проводила ночи напролет внизу на диване. В своем издерганном состоянии она могла наговорить мне непростительных вещей, даже когда плакала. Никогда я не видел столько слез, сколько в ту зиму.

Всякий раз, как я видел маму плачущей, мне казалось, что и Молли нужно довести до слез. И в этом я преуспел: единственному ребенку, прожившему всю жизнь в окружении взрослых, евших поедом друг друга в поисках истины, этот навык привился сам собой. Даже в самый нежный момент близости, когда мы были полураздеты, я мог ляпнуть ей что-нибудь обидное. Мы так ни разу и не занялись любовью в буквальном, совокупительном смысле этого слова. Я оправдывал это помесью идеализма и суеверий, я воображал, что, если лишу ее девственности, она станет моею навсегда. Я слишком зациклился на всяких условностях; она и так отдала мне себя; я и так ею обладал, и до сих пор обладаю, ибо чем дальше я продвигаюсь по пути, который не могу пройти с ней вместе, тем отчетливее вижу, что только она любила меня бескорыстно. Я был заурядный, до смешного честолюбивый дуралей, я даже отказывался признаться ей в любви, произнести само слово «люблю», — этот ледяной педантизм поражает меня и теперь, когда почти позабылось то смущение и смятение, которые заставляли меня так поступать.

В довершение к дедушкиной болезни, маминым горестям и ожиданию ответа, получил ли я стипендию, чтобы учиться в единственно достойном меня колледже, я был перегружен бесчисленными мелкими заботами моего выпускного класса. Я отвечал за подготовку альбома выпускников, был художественным редактором школьной газеты, председателем комитета по вручению призов и наград, директором ассамблеи старшеклассников и рабочей лошадкой учителей. Напуганный папиными россказнями про нервные срывы, свидетелем которых он бывал, я вслушивался в биение пульса в голове, и видение сероватой массы мозга с мириадами переключателей как бы наползало на меня, чтобы заслонить собою весь мой мир, превратившись в гнетущую органическую темницу, и я воображал, что должен оттуда вырваться. Только бы выбраться, навстречу июню, голубому небу, и тогда все у меня будет отлично, до конца дней моих.

Однажды весной, в пятницу вечером, после того как я битый час пытался накропать тридцать пять добрых слов для альбома выпускников про некую пустую девицу с секретарского курса, с которой ни разу даже не перекинулся словечком, я услышал, как наверху с сухим треском рвущейся перепонки раскашлялся дедушка, — и запсиховал. Я крикнул маме:

— Мам! Мне нужно выйти.

— Уже половина десятого.

— Знаю, но мне нужно позарез, а то свихнусь.

Не дожидаясь ответа, не теряя времени на поиски пальто, я выскочил из дому и выкатил из гаража наш старый автомобиль. В прошлые выходные я опять повздорил с Молли. Мы не разговаривали всю неделю, хотя я видел ее однажды у Фабера, с мальчиком из ее класса. Она отвернулась от меня, а я торчал у игрального автомата и отпускал остроты по ее адресу. Я не осмелился подойти к ее двери и постучать в такой поздний час, а просто припарковался напротив и смотрел на освещенные окна их дома. За окном гостиной, на белой каминной полке, виднелась одна из ваз миссис Бингаман с тепличными ирисами. В открытое окно машины струился весенний воздух, тонко пахнувший влажным пеплом. Молли, наверное, ушла на свидание с тем субъектом из ее класса. Но вот отворилась дверь, и в прямоугольнике света возникла ее фигура. Она стояла ко мне спиной с перекинутым через руку пальто, а ее мамаша, кажется, что-то кричала ей вслед. Молли закрыла дверь, сбежала с крыльца, перешла улицу и быстро села в машину; глаза в затененных глазницах были потуплены. *Она пришла.* Когда я окончательно позабуду все прочее — ее пудреное благоухание, прохладную прозрачную кожу и нижнюю губу, подобную двухцветной подушечке, темно-красной снаружи и влажно-розовой изнутри, — я буду по-прежнему с грустью вспоминать, как она пришла ко мне.

Я привез Молли обратно — она говорила мне, чтобы я не переживал, ее мама любит покричать — и поехал в ночную забегаловку в предместьях Олинджера, поглотил три гамбургера, заказывая по одному зараз, и два стакана молока. Домой я вернулся только к двум часам, но мама еще не спала. Она возлежала на диване, в темноте, радиоприемник на полу мурлыкал диксиленд, который Филадельфия транслировала из Нового Орлеана. Музыка по радио стала пристрастием ее бессонной жизни, что не только помогало заглушать дедушкины шумы сверху, но и ей самой было по душе. Она отказывалась внять папиным мольбам и не ложилась спать под тем предлогом, что передача из Нового Орлеана еще не закончилась. Приемник «Филко» был старый, я помню его с детства. Однажды на пластмассовом диске оранжевой шкалы частот я нарисовал рыбку, потому что в моем детском воображении он представлялся мне аквариумом.

Ее одиночество передалось и мне. Я вошел в гостиную и сел на стул спиной к окну. Она долго, пристально смотрела на меня из темноты.

— Ну, — сказала она наконец, — как там поживает маленькая потаскушка?

Меня резанула скабрезность ее языка, которая так и лезла наружу, пока длился наш с Молли роман.

— Я довел ее до слез, — сказал я.

— Зачем ты изводишь девочку?

— Чтобы тебе угодить.

— Мне это ни к чему.

— Тогда перестань меня пилить.

— Перестану, если торжественно поклянешься жениться на ней.

На это я ничего не ответил, и немного погодя она заговорила другим тоном:

— Как забавно, что ты подвержен этой слабости.

— Забавно называть это слабостью, если для меня это единственный источник силы.

— Неужели, Ален? Ну-ну. Не исключено. Я все время забываю, ты ведь здесь родился.

У нас над головой хрупким, но по-прежнему мелодичным голосом запел дедушка: «Далекая блаженная страна, где святые во славе стоят лучезарной, как день». Мы прислушались. Его пение сорвалось на яростный, душераздирающий кашель, рвавшийся из него, как узник из темницы, — и вдруг громким от страха голосом он позвал маму. Она не шелохнулась. Голос бушевал, громыхал, голос громилы, грубияна все твердил:

— Лилиан! Лилиан!

И я увидел, как мама содрогнулась от мощи, которая низвергалась на нее; она была словно плотина. А затем, едва дед ненадолго умолк, вся эта мощь двинулась в темноте в мою сторону, и я возненавидел эту черную пучину страданий, почти сразу же, после беглой прикидки, осознав, что я слишком слаб, чтобы выдержать ее натиск.

Сухим тоном убежденности и неприязни — насколько же очерствело мое сердце! — я сказал ей:

— Хорошо. Твоя взяла, мама. Но это в последний раз.

Приступ страха, обуявший меня от собственной неслыханной ледяной дерзости, притупил все мои ощущения. Я перестал чувствовать под собой стул; стены и мебель в комнате рухнули — только снизу виднелось оранжеватое свечение приемника. С хрипотцой, доносившейся словно откуда-то издали, мама промолвила с характерным для нее драматизмом:

— Прощай, Ален.

1. *Рузвельт Теодор* (1858—1919) — государственный деятель США, республиканец, президент США (1901—1909). [↑](#footnote-ref-1)